



ТОТ, КТО получает пощечины

Евгений Евтушенко «подставляется» всю жизнь. Удары на него сыпались таким градом, что закрадывалось подозрение: не получает ли он уж удовольствия от них? Он, кажется, единственный, кому удалось сочетать репутацию «прогрессивного» и «гонимого» с благополучной писательской судьбой. Первая его книга вышла при Сталине. Разруганный Хрущевым за «Бабий Яр» (больше того, осмелившись возражать гневному генсеку), он тем не менее разъезжал по всему свету. Госпремия досталась ему на излете застоя. Ныне он — народный депутат, щедро печатающийся и обездоленный, кажется, все страны мира. Количество его книг перевалило за три десятка, вышел трехтомник — задумайтесь: не для того ли его держали в власти, чтобы продемонстрировать безнаказанность инакомыслия?

Он, видимо, оказался в роли заложника, для советского поэта привычной. Всю жизнь проживший на невидимом повороте, он постоянно пытался с него сорваться — и не популярности ради, и не ради, впрочем, одних высоких идеалов, а ради того, думается, чтобы себя уважать. Он-то не голословен, принципы его подкреплены самыми конкретными и опасными действиями, и то ли слава его защищала, то ли действительно нужен был властям такой живой пример советского либерализма, но только по краю он ходил частенько. Упомянутая полемика с Хрущевым; телеграмма протеста и встреча с иностранными журналистами в 1968 году по поводу Чехословакии; демонстрация некая на исключение Пастернака; вызывающе от-

кровенные «интимные стихи»; рискованные заявления за границей и выступления в Союзе писателей... Другому бы на всю жизнь хватило сотой доли его вызывающих жестов и доставшихся ему туманов, чтобы потирать спину и жаловаться на гонимую. Евтушенко же не утихает, и, несмотря на тысячи и тысячи конъюнктурных или просто спешных строк, вкусовых сбоев, безудержного самолюбования — несмотря на это, во всем, что он делает, видно благородство. Ибо он, вечный «подписант» и «протестант», именно он, а не кто другой стал символом советской «оттепели», имя его нельзя вычеркнуть из эпохи.

— Вас всю жизнь корят саморекламой. Вы не только много раз пересказывали свою биографию, но и в большинстве статей пишете о себе и снимаете практически всю свою семью в опять-таки автобиографических фильмах... Что это — самореклама или попытка привлечь внимание к обычной человеческой личности, хотя бы и к собственной?

— Я, знаете ли, получил известность не как политический поэт, а как лирик. Когда я начинал писать, лирика — в том числе любовная — была ликвидирована как жанр и существовала в редчайших образцах. Меня начали ругать за «ячество», как только я написал «Со мною вот что происходит». Вместо традиционного «А с нами вот что происходит»... Знаете, что представляла из себя советская любовная поэзия конца пятидесятых? Любовь увязывалась прежде всего с производственными показателями, рост которых вдохновляла. Вот пример из поэмы, герой которой, влюбленный в девушку, изобрел некое рацприпособление:

Вот он, приемщику махнув,
Остановил машину
И, полушубок расстегнув,
Приспособление вынул.
Вы смеетесь? Это было на самом деле. Стоило мне написать просто о любви, без производственного или ясно социального контекста, как я объявлялся певцом грязных простыней. Я помню, в мае пятьдесят третьего, почти сразу после смерти Сталина, Симонов напечатал на первой полосе «Литгазеты» подборку стихов о любви, включая мои. Это ошеломило! Вообще я всю жизнь доказываю право на существование человеческой личности. Одной. Самостоятельной. Пусть жалкой, пусть крошечной — но личности, не коллектива. Я в 1955 году написал: «Границы мне мешают. Мне неловко. Не зная Буэнос-Айреса, Нью-Йорка... Ну, и так далее — и это тоже вызвало бурю упреков: любимым советским героем был пограничник Карацупа с верным псом, а символом государства — пограничные столбы. И тут, видите ли, границы ему мешают! А я доказывал право быть вне границ. Быть разным.

Быть одиноким, несчастным — речь о той самой свободе: «И умираю за свободу — свободу быть самим собой».

— У вас нет ностальгии по семидесятым?

— Есть... Но это не политическая ностальгия. Это тоска по юности своей, по той самой «сосулке, пахнущей крышей», по надеждам, а они у меня, как у всякого нормального человека, редко сбывались... Знаете, чем определяется зрелость? Количеством обманутых надежд.

— Какая из них главная?

— Моя профессия — слово, я с детства любил гумилевское «Слово», и мне казалось, что стоит дать свободу слова — и произойдет раскрепощение сознания, чуть ли не утопия, жизнь нормализуется, исчезнет абсурд... Я жестоко обманулся. От свободы слова до социальной и, главное, внутренней раскрепощенности оказалось невыносимо далеко. Хотя, на мой взгляд, у перестройки вообще только два главных завоевания. Одно из них — свобода слова, второе — ослабление международной напряженности и политическое «потепление».

— А парламент, институт народных депутатов? В какой степени это оправдало себя?

— В вашем вопросе — уже и ответ: оправдало «в какой-то степени». Если бы один Сахаров вошел как парламентарий под своды Кремля, а мы все были марионетками — это уже была бы огромная победа. А среди депутатов, кстати, замечательных личностей много. Для меня открытием был Казанник, отказавшийся ради Ельцина от места в Верховном Совете. Или воронежский депутат Самарин. И то, что шла — все-таки! — свободная дискуссия по тем вопросам, которые никогда прежде на моей памяти обсуждению не подлежали, это очень радовало. Иное дело, что корпус

неоднороден, кто-то пришел в результате честной борьбы, кто-то — на плечах той или иной политической организации. Я готов признать, что народные депутаты работали достаточно неровно, да и сам механизм от идеала далек, но депутаты тем не менее народные. Они и отражают его состояние. Видите ли, дело ведь еще не в том, кто у власти...

— Помилуйте, но ведь «коренной вопрос всякой революции»...

— Вопрос вовсе не в том, кто у кормила, а в том, над кем эта власть, каково состояние народа, понимаете? Сейчас можно сменить произвольное количество правительств, и ничего не изменится. Вся моя надежда на интеллектуализацию массы. Народ-интеллигент — я понимаю, что это нереально, по крайней мере, скоро, но только стремление к этому нас предохранит от катастрофы. Надо думать не о субъекте, носителе, а об объекте власти. Мы не понимаем, что корень всех наших бед исключительно в нас самих, в нашей униженности, в нашей стадности, нашем бескультурье... Все национальные и социальные конфликты и трагедии в стране — от этой самой униженности. Ее надо как-то компенсировать, ибо все равно унижены нищетою, страхом, неустроенностью... В этих условиях возникает комплекс национального превосходства. Или, допустим, социального, сословного. Компенсация. Я нищий, но зато я армянин (узбек, русский)...

— Что вы считаете главной своей депутатской заслугой?

— Мне многим приходилось заниматься. Меня выбрали харьковчане — это крупнейший центр по производству мыла, а в городе давали на квартал два куса мыла хозяйственно-го и пачку стирального порошка. Я добился пересмотра этих издевательских норм. Занимался медициной, добычей жилья, по моим ходатайствам были оправданы или приговорены к меньшим срокам 25 человек, представших перед судом. Я всегда добиваюсь пересмотра дела, потому что у меня давнее убеждение: предпочтительнее ошибиться в лучшую сторону, чем в худшую. Что касается заслуг более общих, то она у меня, по моему, одна: на первом съезде я был в числе тех немногих, кто заговорил об отмене шестой статьи, о многопартийности и демократизации власти.

— Вы выступили против монополии коммунистов. А мы помним ваши романтические стихи о коммунизме, революции, Че Геваре, острове Свободы... Как быть с коммунистической идеей?

— Я никогда не был коммунистом. Но никогда не был — и не буду! — антикоммунистом. Кому бы ни принадлежала абсолютная власть — я против абсолютизации. И только против нее. Мне ненавистна всякая узурпация власти. Что касается идеи, давайте сразу отделим ее от ее осуществления, ибо предсказать, что получится, мог разве что такой гений, как Достоевский, — он уже тогда поднял предостерегающий палец. А все произошло из-за единственного изъяна, который, собственно говоря, трудно заметить в благородной идее коммунистов-утопистов, к которым я питаю только уважение как к чистейшим людям. Изъян этот — превосходство общественных интересов над личными. Власть вообще страшная вещь, я никогда не взял бы ее. Идея, оказавшись у власти, компрометируется неизбежно. Я прекрасно знал Аленде, это был замечательный человек. Но он показал: интеллигент властвовать не должен. Вспоминаю описанный мною случай, когда ему принесли список кандидатов на арест и, возможно, расстрел. В этом списке — почти сплошь реакционный генералитет, включая Пиночета. Аленде отказался от репрессий, он хотел сохранить чистые руки. Если бы он подписал — вполне мог удержаться у власти, но я не могу исключить его перерождения в этом случае. Потому что в том списке были, я уверен, и невинные. Вы спросили о Че, о Фиделе. Че был совсем другим человеком, очень чистым, он отнюдь не мечтал о личной диктатуре и отказался бы от власти. Но другое дело, что в идею счастья, «насищенного осясательствования» он верил искренне, и его личность продолжает вызывать у меня уважение, а гибель — сочувствие. Фидель, кстати, переродился у власти, и для меня, например, отчет идет с залива Кочинос — тогда, после столкновения с американцами, он, кажется, начал меняться...

— То есть вы симпатизируете революционерам, пока они не у власти?

— Я симпатизирую всегда меньшинству. Бунтарям. Диссидентам. Их методы борьбы — другое дело, романтика революции и романтизация насилия — разные вещи. Я люблю того Володю Ульянова, который на вопрос пристава при первом аресте насчет стены, которую ничем не пробить, ответил: «Стена-то гнилая, ткну — и развалится!» Я безоговорочно верю в искренность лучших из большевиков, когда они провозглашали: «Мир — народам, земля — крестьянам!» Или когда обещали свободу печати, которую потом отняли, причем первой жертвой пал именно Горький... Субъективно честных людей много было в истории. И на Трубной площади, в дни похорон Сталина, тоже много

было субъективно честных людей, ставших виновниками жуткой трагедии...

— Я «занял нишу», первым сняв об этой трагедии фильм. Впрочем, даже не о ней — фильм насквозь метафоричен, — а о толпе и народе, о той самой субъективной честности, о праве на жизнь маленького человека.

— Мы живем во время конфронтаций, надрывов, истерии. Долго ли это, по-вашему, продлится?

— Пока мы не найдем выхода позитивной энергии людей, она будет преобразовываться в негативную. А позитивный запас огромен, просто нет каких-то факторов, распечатающих его. Во-первых, нужна макроцель. Без нее люди, мне кажется, не могут. Такой макроидеей в экономике может быть только честное и свободное предпринимательство, а у нас честные люди практически не имеют выхода к нему. И второе: Минфин у нас хочет получать деньги, ничего не делая, поэтому взвинчивает налоги, и в результате, чтобы поставить свое дело, требуется огромный начальный капитал. Среднему человеку его взять негде. Поэтому на первых порах, если производство ведется честно и оно нужно стране, надо дать встать на ноги. Налоги не брать. Нужна хорошая экспертная команда, которая выносила бы суждения по поводу каждого проекта и решала, чем помочь, брать ли налог с нового предприятия... Развивать, иными словами, предпринимательство честных людей. У остальных она и так развита.

— Вы говорите об экономике, пишете, что политика — привилегия всех, однако вы прежде всего...

— Поэт, разумеется.

— Ну вот. Ленин, кажется, говорил, что литература должна стать колесиком и винтиком общепролетарского дела...

— Что значит должна или должен? Есть долг перед литературой и перед собой, никто не обязан идти на площади или вмешиваться в политику. Но знаете, я скажу вещь довольно странную, по-моему: живи Пушкин сейчас — он стал бы народным депутатом! Он был человек общественный, а это ведь все — дело темперамента. Для меня органично писать политические стихи, публицистические статьи и быть народным депутатом. Маяковского, Некрасова я представляю себе в этой роли. Блока, Лермонтова, Пастернака — не представляю. Но и те, и другие поэты мне дороги.

— А кто наиболее?

— Пушкин. В нем было все. Он предсказал все пути русской литературы, в нем есть уже и Лермонтов, и Блок, но он больше... «Нева металась, как больная в своей постели беспокойной» — это же чистый Пастернак!

— Скажем, к Бродскому как вы относитесь?

— Это высокий профессионал со своим почерком.

— Вы ведь, кажется, пытались его опубликовать в «Юности»?

— Да, но Полевой хотел заменить строку «Мой веселый, мой пьяный народ». Бродский возмутился и снял всю подборку. Хотя шло семь стихов, и можно было просто убрать одно... Для него решался тогда вопрос: оставаться непечатаемым, непризнанным или выйти впервые на страницы журнала. Он предпочел первое, и это во многом прибавило ему славы на Западе.

— Как и вам — ваша здешняя гонимость?

— Я не спорю с этим...

— Что вам больше всего нравится из собственного творчества за последние годы?

— Фильм «Похороны Сталина» (нам кажется, очень слабый, но тем не менее и в этой слабости честный. — Д. Б., М. Р.). Из стихов — «Дай Бог», внезапно ставшее песней Малинина. Вообще же планы мои связаны с прозой. Я буду писать второй роман о начале пятидесятых. Автобиографический...

И вот говоришь с ним, говоришь, и все остается чувство, что главное не сказано, а надо признаться, сказать ему, что, несмотря на вечные крики толпы «Продался! Продался!», на собственные его ошибки, заблуждения, явные ляпы, мы-то видим, мы знаем, что продиктовано все это лучшими побуждениями, благороднейшими мотивами — защитой слабых, ненавистью к толпе, стадности, фашизму в любых его проявлениях... И уж коли половина его удачных строк вошла-таки в словослов — «Поэт в России больше, чем поэт», «Я делаю карьеру тем, что не делаю ее», «Хотят ли русские войны», «И если сотня (...) бьет одного, пусть даже и за дело, — сто первым я не буду никогда...» — значит, есть во всем этом что-то, что нам необходимо, как и сам он — мятущийся, ошибающийся, самоопытный, всегда на себя похожий. И вообще! У него и в последние годы беретс вдум и иногда в стихах нота такой лирической чистоты и ясности, что ясно: тут он, откуда не делся.

Вы так молоды сейчас
И прекрасны до поры,
И, за вами волочась,
Вас вкушают комары.
Я немножко староват,
Но у этого крыльца
Разрешите постоять
Возле вашего лица.

Дмитрий Быков,
Мария Решетникова.

Фото Валерия Киселева.